

II. Эпоха Ермолова и Паскевича

Из книги В. А. Потто «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах легендах и биографиях». Т. 1—4. СПб., 1886—1889. Т. 5. Тифлис, 1889.
 Переизд.: В. А. Потто. «Кавказская война». В 5 т. Ставрополь: Кавказский край, 1993.

1. ЕРМОЛОВСКОЕ ВРЕМЯ

ЕРМОЛОВ

Но се, восток подъемлет вой!..
 Поникни снежной головой,
 Смирись, Кавказ, — идет Ермолов!
А. Пушкин

...И ты, Ермолов незабвенный,
 России слава, горцам страх,
 Чье имя, как завет священный,
 Штыками врезано в горах...
Домонтович

Тысяча восемьсот шестнадцатым годом, когда на Кавказе появляется Ермолов, начинается новый, обильный блестящими последствиями, период русского владычества в крае. Кавказские войска с восторгом узнали о назначении главою их Ермолова, героя Бородина и Кульма, любимца народной молвы, стяжавшего себе громкую славу и качествами опытного и талантливого вождя, обходимого официальными реляциями, но популярнейшего в войсках, и своей неподкупной честностью, и своей истинно русской

душой, и меткими злыми остротами над господствовавшими тогда всюду в России «немцами», народное нерасположение к которым усилилось недавней народной войной 1812 года. Даже в блестящей плеяде деятелей того недавнего прошлого нашей народной и государственной жизни Ермолов принадлежит к числу тех немногих, на которых во все грядущие века с удивленным вниманием и глубоким сочувствием остановится взор всякого русского, кому дорога русская национальная слава.

Природа, казалось, самой внешностью хотела отметить любимого витязя русских войск. «Из ряда людей, прославленных отечественной войною, из тесного круга деятелей государственных, — говорит о нем историк Ковалевский, — возвышается величавая фигура, выдающаяся из всех других. Мужественная голова со смелой и гордой посадкой на мощных плечах, привлекательные очертания лица, соразмерность членов и самые движения свидетельствуют о великой нравственной и физической силе Ермолова, этого необыкновенного человека». И вдохновенный русский поэт с полным правом мог воскликнуть: «Смирись, Кавказ, — идет Ермолов!»

Личная судьба Ермолова, как известно, может служить разительным примером непостоянства и переменчивости земного счастья, но потомство ценит только заслуги перед отчизной, и в его глазах несправедливость судьбы только возвышает славного вождя, не всегда ценимого своими современниками.

Начало блистательного военного поприща Ермолова захватывает еще славные Екатерининские времена, и с первых же шагов он был замечен гениальным Суворовым, из рук которого получил Георгиевский крест. Родившись двадцать четвертого мая 1777 года в Москве, он, по тогдашнему обыкновению, еще в детстве записан был в гвардию. Князь Юрий Владимирович Долгоруков отвез

его в Петербург в 1792 году, когда Ермолов имел пятнадцать лет и уже чин капитана гвардии. Зачисленный в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе, он, однако, остался в Петербурге адъютантом при генерал-прокуроре графе Самойлове, у которого отец Ермолова был тогда правителем канцелярии.

Пытливый молодой ум не давал, однако, Ермолову погрузиться в чисто практическую службу, и постоянные занятия военными науками скоро привели его в Шляхетский артиллерийский корпус, выгоднее других тогдашних учебных заведений обставленный научными средствами. В 1793 году Ермолов выдержал требовавшийся тогда для перевода в артиллерию экзамен с особым отличием и, в составе корпуса Дерфельдена, уже артиллеристом, выступил в поход против Польши. Здесь-то он и имел случай обратить на себя особенное внимание Суворова, лично назначившего ему, после штурма Праги, орден св. Георгия 4-ой степени.

Польский поход был для Ермолова началом целого ряда лет, проведенных среди бранных тревог и опасностей. Отправленный вскоре в Италию, он, с австрийской армией, сделал кампанию против французов, а по возвращении в Россию назначен был в корпус графа Валериана Зубова, шедший на Персию, участвовал во взятии Дербента и ходил к Ганже против Аги Мохаммед-хана, двигавшегося навстречу русским с огромным войском и восемнадцатью слонами. Здесь в первый раз Ермолов познакомился с Кавказом, глубоко заинтересовался его судьбами и полюбил его всей душой, видя в то же время недостатки управления и политики в нем, грозившие стране столькими бедами. Впоследствии мысль сделаться начальником Кавказского края стала лучшей мечтой его жизни.

Ермолову было только девятнадцать лет, а он уже имел за персидский поход Владимирский крест и чин подпол-

ковника. Но, со вступлением на престол императора Павла, в его судьбе все вдруг круто изменилось. Войска, участвовавшие в походе в Персию, получили приказание немедленно возвратиться в Россию, и весь отряд отступил на Терек, где его ожидал, по выражению Давыдова, «свое нравный граф Гудович, пылавший гневом за то, что не ему было вверено начальство над Экспедиционным корпусом». Избегая встречи с ним, многие пробрались степью прямо в Астрахань; в числе их был и Ермолов.

Вскоре случилось новое обстоятельство, надолго совершенно устранившее Ермолова от военной деятельности. Между офицерами армейских полков, квартировавших в Смоленской губернии, развилось сильное неудовольствие из-за крутых мер и преобразований, вводимых новым императором, и особенно из-за опалы, постигшей тогда любимого фельдмаршала Суворова. По доносу смоленского губернатора было назначено следствие, и между скомпрометированными офицерами был родной брат Ермолова по матери, Коховский, а письма, найденные у него, замешали в дело также и Ермолова. Он очутился в Петропавловской крепости, но так как невиновность его была скоро обнаружена, то его выпустили, а вслед за тем внезапно арестовали опять и без объяснения причин сослали в город Кострому, где в то время жил в ссылке же знаменитый впоследствии граф Матвей Иванович Платов. Изгнанники часто проводили время вместе и, печальные, беседовали о подвигах своих соратников на Альпийских горах. Это было время бессмертного Итальянского похода Суворова.

Ссылка помешала Ермолову участвовать в этом славном походе, но время бездействия не пропало для него даром. В своем уединении он изучал латинский язык и читал Цезаря, в то время как новый цезарь и наш славный Суворов, один после другого, оглашали громом побед те самые

места, которые видели некогда предводимые Цезарем римские когорты.

По вступлении на престол Александра Павловича Ермолов был из ссылки возвращен. Но определение его снова на службу долго встречало большие затруднения. «С трудом, – говорится в записках Ермолова, – получил я роту конной артиллерии, которую колебались мне поверить, как неизвестному офицеру между людьми новой категории. Я имел за прежнюю службу Георгиевский и Владимирский ордена, был употреблен в Польшу и против персиян, находился с австрийской армией в приморских Альпах, но все сие ни к чему мне не послужило, ибо неизвестен я был в экзерциргаузах и чужд Смоленского поля, которое было школой многих знаменитых людей нашего времени».

Испытания, посланные судьбой Ермолову, несомненно закалили его и без того сильный характер, укрепили в нем силу воли. Но самолюбие его от того не менее страдало при мысли, что многие из товарищей и сверстников далеко обошли его в службе и могли сделаться в недалеком будущем его начальниками. К тому же колкий язык Ермолова, его смелые и язвительные замечания приобрели ему сильного врага в лице инспектора всей артиллерии графа Аракчеева.

Всем был известен острый ответ его по поводу замечания Аракчеева о худобе казенных строевых лошадей. Аракчееву оставалось только притвориться тогда не понявшим ответа, но Ермолов скоро почувствовал на себе всю тяжесть начальнического гнева. В это-то время он писал: «Мне остается или выйти в отставку, или ожидать войны, чтобы с конца своей шпаги достать себе все мною потерянное».

В этих гордых словах сказалось только сознание своей силы – Ермолов знал себе цену. И действительно, когда война началась, Ермолов явился на ратном поле одним из замечательнейших деятелей, учителем многих старших

себя по службе и, несмотря на все недоброжелательство к себе сильных и влиятельных людей, проложил себе дорогу к отличиям и сделался лично известен императору Александру Павловичу.

Первые блистательные подвиги совершены были Ермоловым в кампанию 1805 года, где он заслужил дружбу знаменитого князя Петра Ивановича Багратиона, продолжавшуюся до смерти последнего. За Аустерлицкое сражение Ермолов был наконец произведен в полковники. Но, кажется, и эта награда была получена им только потому, что Кутузов выразил удивление, что отличный офицер, имевший два знака отличия времен Екатерины, девять лет сидит подполковником – почти небывалый случай при быстрых производствах тогдашнего времени.

Чин полковника был первой ступенью к быстрому служебному возвышению Ермолова, которому чрезвычайно много послужила кампания 1807 года. Ею начинается и эпоха необыкновенной популярности Ермолова в армии. После битвы при Прейсиш-Эйлау, где предводимая им конно-артиллерийская рота отстояла левый фланг русской армии, и Пален, и Беннигсен одновременно ходатайствовали о награждении его орденом св. Георгия 3-ей степени. Но Георгиевский крест был дан молодому графу Кутайсову, Ермолов же получил Владимира 3-ей степени. Князь Багратион почел несправедливость, нанесенную Ермолову, личным для себя оскорблением и жаловался цесаревичу. Ермолов, со своей стороны, тоже не считал нужным молча переносить обиду. И когда, по приказанию начальника артиллерии Резвого, Кутайсов потребовал от него списки отличившихся, он, представляя эти списки, написал ему:

«Благодарю ваше сиятельство, что вам угодно известить меня, что вы были моим начальником во время битвы».

Истинные заслуги и дарования не нуждались, однако, в покровителях: за Голымин Ермолов получил золотую

саблю, за Гейльсберг – алмазные знаки ордена св. Анны 3-ей степени и наконец за дело при Гутштадте и Пассарге добился-таки Георгия на шею, в котором на этот раз уже никто не мог отказать ему. Известность, приобретенная им в течение этой войны, была так велика, что одного удостоверения его оказалось достаточно, чтобы получили Георгиевские кресты три штабс-офицера, отличившиеся на его глазах под Гейльсбергом. Когда солдаты наши замечали роту Ермолова, выезжавшую на позицию, и видели его колоссальную гигантскую фигуру, они ободрялись и громко выражали уверенность, что «Ермолов за себя постоит».

Произведенный по окончании войны в генерал-майоры, Ермолов получил в командование гвардейскую артиллерийскую бригаду, а вслед за тем, по личному выбору государя, сделался начальником гвардейской пехотной дивизии. Попытку уклониться от этого почетного назначения с тем, чтобы ехать в Дунайскую армию, император Александр принял за интригу против Ермолова и приказал передать ему, что впредь все назначения его по службе будут зависеть от самого государя и что он ни в ком нужды не имеет. Приезд Ермолова в Петербург, однако же, замедлился; он сломал руку и должен был надолго слечь в Киеве. Внимание государя простерлось до того, что он прислал курьера узнать о его здоровье и приказал уведомлять себя каждые две недели о ходе лечения.

«Удивлен я был сим вниманием, – пишет Ермолов, – и стал сберегать руку, принадлежащую гвардии; до того же менее заботился я об армейской голове моей».

Между тем наступил год, «памятный каждому россиянину, тяжкий несчастиями, знаменитый блистательной славою в роды родов» – год Отечественной войны, когда потребовались для спасения отчизны необычайные усилия и энергичные люди, и Ермолов назначается начальником главного штаба в армии Барклая-де-Толли против желания

влиятельного графа Аракчеева, рекомендовавшего на этот пост Гучкова. Своими распоряжениями в качестве начальника штаба Ермолов, по общим отзывам историков, не раз спасает русскую армию от опасности и непосредственно, частными письмами, доносит государю о положении дел, настоятельно прося его о назначении одного общего главнокомандующего. Высокий пост, занятый им по воле императора, создал ему в армии много сильных врагов, завидовавших быстрому его возвышению, тем более, что он, подобно князю Багратиону, держался открытым противником руководившей тогда всем немецкой партии, во главе которой стояли Барклай, Витгенштейн и другие. Рассказывают, что у Ермолова спросили однажды, какой он желает милости. «Пусть пожалуют меня в немцы, – ответил он, – а тогда я получу все уже сам». В другой раз, войдя в залу перед внутренними покоями императора Александра, где ждало много военных генералов, он вдруг обратился к ним с вопросом: «Позвольте узнать, господа, не говорит ли кто-нибудь из вас по-русски?» О самом штабе Барклая он отзывался со своей обычной резкостью. «Здесь все немцы, – сказал он однажды, – один русский, да и тот Безродный». Безродный – фамилия одного чиновника, служившего при штабе, впоследствии сенатора. Понятно, что Ермолов стоял в прямой оппозиции со многими сильными людьми, не упускавшими случая вредить ему.

С назначением Кутузова главнокомандующим русской армией положение Ермолова в главной квартире несколько стухивывается: на первый план выступают любимцы старого князя – Коновницын и Толь. Но Кутузов, не приближавший его к себе, тем не менее постоянно употребляет его во всех трудных случаях: и под Бородиным, где Ермолов вырвал из рук французов батарею Раевского, запечатлев геройский подвиг своей кровью (он был ранен картечью в шею), и под Тарутиним, и под Малоярославцем, и под

Вязьмой, и под Красным. Однажды Кутузов, окруженный своим штабом, смотрел на отступление французов. Когда мимо него на своем боевом коне пронесся Ермолов, старый фельдмаршал, указывая на него окружающим, сказал: «Еще этому орлу я полета не даю». И потом повторил несколько раз: «Он рожден командовать армиями».

Произведенный в генерал-лейтенанты за сражение под Заболотьем, близ Смоленска, Ермолов за Бородинскую битву был представлен Барклаем-де-Толли к ордену св. Георгия 2-ой степени. «Весьма справедливо сделали, что мне его не дали, – говорит Ермолов в своих записках, – ибо не должно уменьшать важности оногo; но странно, что отказали Александра, которого просил для меня светлейший, а дали Анненскую, наравне с чиновниками, бывшими у построения мостов».

Могильное молчание реляций не могло уничтожить заслуг Ермолова и даже, напротив, придавало им особенный блеск. Подвиги его сделались достоянием устных рассказов, сообщавших им легендарный характер, и тем дороже был герой для всех обожавших его подчиненных, что ему не отдавалось должной справедливости. Устная молва сделала для Ермолова гораздо более, чем могли бы сделать самые пышные реляции главнокомандующих: имя его перешло в народ, и он занял одно из виднейших мест среди *народных* героев 1812 года.

«Ермолов, – говорит в своих записках Писарев, – напоминает собою людей Святославова века; он всегда при сабле, всегда спит на плаще. Ни гагачьи пуховые постели помпадурские, ни штофные занавесы Монтеспан не манят его к неге и ко сну, который и в столице, как равно и в кочевых станах, продолжается у него только до рассвета».

Жуковский в знаменитом «Певце во стане русских воинов» так характеризует геройскую личность Ермолова:

Хвала сподвижникам – вождям;
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам,
И страх твой перуны.

«Если мы, – говорит Давыдов, – современники и очевидцы магического действия, производимого в наших войсках одним именем Ермолова, были глубоко удивлены необычайной популярностью, которой он всегда пользовался, то наши потомки будут вправе думать, что известие о том если не вымышлено, то, по крайней мере, весьма преувеличено; а между тем самые враги его, бывшие не раз свидетелями необыкновенной любви и преданности, питаемых к нему войсками, не могут отрицать этого обстоятельства».

При открытии заграничной кампании 1813 года Ермолов получает в командование артиллерию всех действующих армий. На этом посту он остается, впрочем, не долго. Главнокомандующий князь Витгенштейн, весьма неблагоприятно относившийся к Ермолову, воспользовался неудачей Люцынского боя, чтобы свалить на него всю вину, несправедливо приписав его нераспорядительности недостаток артиллерийских снарядов. Ермолов сдает должность князю Яшвилло, опять впадает как бы в немилость и остается без команды до самого Кульмского боя. Только под Бауценом ему поручают ничтожный арьергард, с которым он борется, однако, на глазах государя, почти против всей французской армии, приводя в восторг даже самого Витгенштейна. «Я оставил на поле сражения, – писал этот последний государю, – на полтора часа Ермолова; но он удержался на нем, со свойственным ему упрямством, гораздо долее и сохранил тем Вашему Величеству около пятидесяти орудий».

Под Кульмом Ермолов командует русской гвардией, и первый день этого великого по своим последствиям боя

бесспорно составляет одно из лучших украшений военного поприща его. В самом начале сражения ядро оторвало графу Остерману руку, и боем до конца руководил один Ермолов.

Узнав об этом, император Александр сказал: «Ермолов укрепил за собою гвардию», – и пожаловал ему Александровскую ленту.

Реляция об этом сражении была написана самим Ермоловым. Весь успех дела он отнес в ней непоколебимой стойкости войск и распорядительности графа Остермана, совершенно умолчав о своем командовании и о своих заслугах. Прочитав эту реляцию, Остерман, несмотря на жесткое страдания, собственноручно написал Ермолову:

«Довольно возблагодарить не могу ваше превосходительство; нахожу лишь только, что вы мало упомянули о генерале Ермолове, которому всю истинную справедливость отдавать привычен».

Когда флигель-адъютант граф Голицын привез графу Остерману знаки св. Георгия 2-ой степени, мужественный генерал сказал ему: «Передайте государю, что этот орден должен принадлежать не мне, а Ермолову». Впоследствии, когда Остерман удалился от дел и поселился в Женеве, он приобрел и повесил в своем кабинете портрет Ермолова, служивший ему живым напоминанием славного прошлого.

Наполеоновские войны Ермолов блистательно закончил под стенами Парижа, командуя при взятии его русской и прусской гвардией. Парижу обязан он Георгием 2-ой степени со звездой, который со своей груди надел на него цесаревич Константин Павлович. Пруссаки также спешили поздравить Ермолова и, намекая на несомненно предстоящую ему награду орденом Черного Орла, говорили: «Сегодня ваш Красный Орел почернеет». Но прусский король, недовольный потерей, понесенной его гвардией, которую Ермолов, по собственному его выражению, «вывел в расход», не пожаловал ему этого ордена.

По низложении Наполеона Ермолову поручен был восьмидесятитысячный обсервационный корпус на границах Австрии, и затем ему предоставлялась еще более широкая деятельность. Граф Аракчеев держал пари, что Ермолов будет военным министром, и, действительно, сказал однажды государю следующие памятные слова:

– Армия наша, изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хорошем военном министре; я могу указать Вашему Величеству на двух генералов; это – граф Воронцов и Ермолов. Назначению первого, имеющего большие связи и богатства, всегда любезного и приятного в обществе, возрадовались бы многие; но Ваше Величество скоро усмотрели бы в нем недостаток энергии и бережливости, какие нам в настоящее время необходимы. Назначение Ермолова было бы для многих весьма неприятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми; но его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость вполне бы его оправдали.

Характеристика эта была совершенно верна, но государь готовил Ермолову другое назначение. В то время как он находился в отпуске в орловском имении своего отца, высочайшим приказом от двадцать четвертого мая 1816 года он был назначен главнокомандующим в Грузию, а вместе с тем и чрезвычайным посланником в Персию. Заветная мечта Ермолова, зародившаяся, как сказано выше, еще в начале его военного поприща, таким образом исполнилась.

– Я бы не поверил, – сказал ему при свидании государь, – что ты можешь желать этого назначения, но меня уверили в том Волконский и Аракчеев.

«Объяснением сим, – говорит Ермолов, – государь истолковал мне, какого он о Грузии мнения. Сего достаточно было, чтобы на месте моем утратить многих, но я решился поверить себя моему счастью. Не с равным удовольствием принял я назначение меня послом в Персию.

Меня устрашали дела, по роду своему совершенно мне незнакомые. Я наслышатыся о хитрости и коварных свойствах персиян и отчаивался исполнить с успехом поручение государя. Ничто так не оскорбляет самолюбия, как быть обманутым, а я никак не надеялся избежать того».

И вот на тридцать девятом году от роду, в лучшую пору деятельности человека, Ермолов становится самостоятельным правителем обширного воинственного края, с правами почти неограниченными, которых до него не имел никто из его предместников. Вся предыдущая деятельность его обещала для Кавказа эпоху великих дел, и самая наружность Ермолова как бы соответствовала той силе и власти, которыми он был облечен: необыкновенная физическая сила, могучее телосложение, громадный рост и характерная круглая голова с седыми, в беспорядке лежавшими волосами, напоминавшая собою голову льва. Таким изображен он в портретной галерее Зимнего дворца. Величественная и грозная фигура его, одетая в косматую черкесскую бурку, опирается на обнаженную шашку; лицо дышит суровой энергией и непреклонной волей; на заднем плане – скалы, над головой нависли грозные тучи. Портрет этот писан известным художником Доу. Следующие стихи к этому портрету весьма удачно передают его характернейшие черты.

На снежном подножьи кавказских вершин,
Угрюм, одинокий стоит исполин;
Он буркой косматой картинно одет,
Вокруг его блещет румяный рассвет.
На шашке булатной покоится длань,
Могуч он и грозен, как смертная брань.
Свинцовая дума в морщинах чела
Всей тяжестью смело, глубоко легла.

Осенью 1816 года Ермолов приехал в Георгиевск, тогдашний центр управления Северного Кавказа, но пробыл

там лишь несколько дней, спеша в Персию, чтобы прежде всего обеспечить границы со стороны этого беспокойного соседа. Но уже и в короткое время, знакомясь в самых общих чертах с положением дел на Кавказской линии, он успел вывести далеко не утешительные заключения. Он был уже в этих местах молодым артиллерийским капитаном с корпусом графа Зубова и теперь, двадцать лет спустя, был поражен, не найдя почти никакой перемены к лучшему. Реки крови русской, казалось, были пролиты здесь совершенно даром. Терские станицы и лежащие за ними русские поселения по-прежнему были ареной кровавых набегов и держались в постоянной осаде. Не только сообщения между ними сопряжены были с серьезными опасностями, но даже выйти за ворота укрепления уже значило рисковать свободой и жизнью. Население и войска держались в постоянном напряжении, и о мирном развитии края не могло быть и речи.

Сделав несколько общих распоряжений, Ермолов отправился далее и вечером десятого октября в простой рогожной кибитке въехал в заставу Тифлиса. Но и Закавказье поразило его незначительностью достигнутых русской властью результатов во внутреннем управлении. Пятнадцать лет минуло после присоединения к нам Грузии, Закавказские владения, особенно благодаря победам Цицианова и Котляревского, раздвинулись от моря до моря и в самую глубь вечно враждебных соседних земель, а между тем сделано было еще очень немного, чтобы успокоить эту цветущую окраину Русского государства и поставить ее на путь мирного развития. Пограничные магометанские ханства, богатые дарами природы, но управляемые алчными азиатскими деспотами, могли служить особенно резким примером неустройства закавказских дел, оставаясь, как и в момент их завоевания, все теми же ненадежными владениями, всегда держащими сторону сильного и

готовыми отложиться при первом удобном случае, при первых успехах Персии или Турции. И прежде чем отправиться в Тегеран, Ермолов почел необходимым ближе ознакомиться с ханствами и объехал их, чтобы с большей ясностью понимать задачи политического разграничения России с Персией. Из осмотра их он вывел еще то заключение, что под русским управлением ханства могли приносить России в десять раз больше доходов и выгод, чем при автономном управлении ханами. Весною 1817 года Ермолов уехал наконец в Персию для выполнения своей политической миссии. Положение его было в высшей степени трудное. Император Александр дал шаху обещание возвратить часть завоеванных земель, а между тем из осмотра ханств Ермолов успел вынести твердое убеждение, что всякие уступки невозможны и излишни и грозили бы только дальнейшими бедствиями войн. И перед ним теперь лежала нелегкая задача избежать исполнения обещаний императора. Но Ермолов с честью вышел из затруднений; он действовал с таким искусством, выказал так много энергии, что заставил шаха самого отказаться от притязаний, и все мусульманские закавказские земли остались за Россией. Мир России на границах Персии был обеспечен по крайней мере на несколько лет, и Ермолов мог сосредоточить все свое внимание и заботы на внутреннем устройстве Кавказского края.

Эпоха Ермолова была для Кавказа прежде всего эпохой полного изменения внутренней политики. Наши традиционные отношения к завоеванным ханствам и горским народам были фальшивы в самом своем основании, и это поняли из прежних начальников Закавказского края лишь князь Цицианов, ставший за то грозой для всех своих азиатских соседей, да маркиз Пауллуччи, понявший всю правоту Цицианова, но не успевший сделать что-нибудь по кратковременности своего начальствования в крае. Все

наши сношения с мелкими кавказскими владениями носили характер каких-то мирных переговоров и договоров, причем Россия всегда являлась как бы данницей. Большой части не только дагестанских и иных ханов, но даже чеченским старшинам, простым и грубым разбойникам, Россия платила жалованье, поддерживая тем в них алчность и возбуждая в других зависть и стремление набегами вынудить Россию платить «дань» и им. Какое-то совершенно ничтожное Анцуховское общество, обитавшее в трущобах Дагестана, уже во времена Ермолова считало себя обиженным, не получая от России денег. Анцуховцы писали Ермолову, что обещают жить в мире с русскими только в таком случае, если будут получать дань, какую платили им грузинские цари.

С появлением Ермолова на Кавказе все это прекратилось. Он понимал, что если азиатские владельцы сами и не считают желание России откупиться от набегов за слабость и робость перед ними, то имеют прямую выгоду представлять дело в таком свете перед своими подданными, и уже в одном этом обстоятельстве лежала причина дерзости горских племен и вносимой ими в наши пределы вечной войны, конца которой, при принятой системе сношений с врагами, невозможно было предвидеть в самом далеком будущем. Из этого взгляда прямо вытекала замена пассивной политики, с паллиативным и не достигающим цели средством задаривания врагов, политикой деятельной, имеющей своей целью не временный непрочный мир, а полную победу, полное покорение враждебных земель. Принципом Ермолова было, что золото – не охрана от неприятеля, а приманка его, и он стал давать цену только железу, которое и заставил ценить более золота. «Хочу, – говорил он однажды, – чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, чтобы слово мое было для азиатов законом, вернее неизбежной смерти.

Снисхождение в глазах азиатов – знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены».

В этих словах вся система Ермолова. Он смотрел на все мирные и немирные племена, населявшие Кавказские горы, если не как на подданных России, то рано или поздно долженствующих сделаться ими, и во всяком случае требовал от них безусловного повиновения. И прежняя система подкупа и подарков в его руках сменилась системой строгих наказаний, мер суровых, доходящих до жестокости, но всегда неизменно соединенных с правосудием и великодушием. «Великодушие, бескорыстная храбрость и правосудие – вот три орудия, которыми можно покорить весь Кавказ, – говорит известный мусульманский ученый Казем-Бек, – одно без другого не может иметь успеха. Имя Ермолова было страшно и особенно памятно для здешнего края: он был великодушен и строг, иногда до жестокости, но он был правосуден, и меры, принятые им для удержания Кавказа в повиновении, были тогда современны и разумны».

Система действий, положенная Ермоловым в основание русских отношений на Кавказе, вывела их на тот путь, на который они рано или поздно должны были стать. Россия не могла уже отказаться от своего влияния на племена, населявшие Кавказские горы. Она уже прочно утвердила тогда свое почти вынужденное, исторически создавшееся, под влиянием тяжелой судьбы христианских народов того края, господство в Закавказье. Но между коренной Россией и этой отдаленной окраиной лежал только один путь сообщений, через перешеек между двумя морями, занятый Кавказским хребтом, населенным непокорными племенами, которые всеми зависящими от них способами преграждали путь через Кавказские горы. Очевидно, чтобы власть России в Закавказье была прочна, необходимо было вынудить

черезполосные земли Кавказа не мешать сношениям через них. И если система мира и подарков оказывалась не достигающей этой цели, для России оставался один путь, путь войны, каких бы жертв она ни потребовала, тем более что когда-нибудь ведь нужно же было прекратить унижительную для России политику, годившуюся еще разве во времена войн с Персией и Турцией и беспорядков в самом Закавказье, но теперь совершенно бесполезную.

Ермолов, постигая в полном объеме эту неизбежность грядущих событий, первый выступил на настоящий путь отношений к кавказским народам – путь военный, путь открытой борьбы, исход которой не мог для России подлежать сомнению. Он сознательно поставил себе задачу завоевания Кавказских гор и, прекрасно понимая характер театра предстоявших военных действий, создал и новую целесообразную программу их. «Кавказ, – говорил он, смотря на вздымавшиеся перед ним горы, – это огромная крепость, защищаемая многочисленным, полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать ее или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду». И в этих словах вся сущность руководящей деятельности Ермолова.

Частности этого великого дела, поднятого на свои плечи Ермоловым, определялись, как это всегда бывает у замечательных людей, самыми обстоятельствами. Все южные склоны Главного Кавказского хребта и весь Закавказский край, не только в его христианских странах, но даже и в магометанских ханствах, были покорны России, а мирный договор, заключенный с Персией, обеспечил Ермолову на несколько лет полную свободу действий для развития и укрепления русского влияния среди воинственных племен, населявших северные отроги и склоны Кавказа. Поэтому вся деятельность его и сосредоточилась именно там, в то время как за хребтом она ограничилась лишь мирным закреплением русского владычества в пограничных ханствах,

да успокоением возникавших по временам среди христианских племен, именно: в Имеретии и Абхазии, волнений. Не лишнее прибавить, что и в последующие времена, до самых последних дней, вся политика России в Закавказье носила тот же мирный характер, за исключением острых моментов персидских и турецких войн, всегда вносивших в край некоторые волнения.

Но задачи, предстоявшие Ермолову на Северном Кавказе, требовали именно его энергии и ума. Военно-Грузинская дорога делит Кавказ на две полосы: к востоку от нее – Чечня и Дагестан, к западу – Кабарда, простирающаяся до верховий Кубани, а далее – Закубанские земли, населенные черкесами. Чечня с Дагестаном, Кабарда и наконец Черкесия и составили три главнейших театра борьбы, и по отношению к каждому из них требовались особые меры.

Ермолов начал с Чечни, расположенной непосредственно к югу за средним течением Терека. Аулы чеченцев еще были в то время на самом Тереке и тем весьма облегчали соплеменникам своим кровавые набеги на русские станицы. Ермолов начал с того, что оттеснил чеченцев за Сунжу, а на ней, в 1818 году, поставил первую свою крепость, Грозную, связав ее рядом укреплений с Владикавказом, стоявшим у самого прохода в горы на страже Военно-Грузинской дороги. Это и была первая параллель к «крепости», как Ермолов называл Кавказские горы. Чеченцам был прегражден свободный путь на Средний Терек, и бедствия прежних времен с тех пор там миновали.

Но на Нижний Терек открытый путь оставался еще через Кумыкские степи, и Ермолов в следующем же, 1819, году поставил близ Андреевского аула новую крепость, Внезапную, разделившую чеченцев от кумыков и в то же время преграждавшую первым путь к дагестанцам через Салатавские горы. Внезапная была соединена с Грозной

также рядом укреплений. А далее, за Кумыками, к морю, лежало дружественное нам шамхальство, и железный полукруг уже охватывал Чечню и часть Дагестана. Чеченцы присмирели.

Непрочно, однако, было это мирное настроение Чечни, пока сама природа стояла на страже ее границ, делая почти вовсе недоступными ее аулы. Прямо за Сунжой начинались огромные, непроходимые для русских войск леса, в которых каждое дерево было равнозначуще вооруженному человеку. Ермолов прекрасно понял, что действительнейшее средство борьбы с непокорной Чечней – это сделать доступными ее внутренние поселения, и время его было началом медленного, но прочного завоевания страны посредством завоевания природы. При Ермолове в первый раз возникла система рубки лесов. Широкие просеки легли от одного аула к другому и мало-помалу начали делать возможным доступ русским в самые недра чеченской земли, в тот очаг, где закалялась ненависть к сильным пришельцам и жили «преданья вольности», волновавшие и взрослого мужа и юного джигита. И эта система до самых последних дней кавказской войны стала необходимой основой всех действий, главнейшим средством покорения Кавказа, и жестоко платились те, которые от нее отступали.

Народы Дагестана, между тем, видя в судьбе Чечни угрожающую и им опасность, уже с начала 1818 года подняли знамя восстания. В Дагестане возникло стремление составить обширный союз народов, чтобы разом соединенными силами действовать против русских. К союзу примкнули внутренние ханства Аварское и Казикумыкское, вольное Акушинское общество и владения, примыкавшие к морю: Мехтула, Каракайтаг и Табасарань. В то же время дагестанцы старались привлечь к союзу на севере шамхальство, а на юге Кюринское владение, некогда отторгнутое Россией от

Казикумыка и уже потому отличавшееся постоянной верностью ханов. Восстание охватило обширную площадь. Ермолов понимал опасность надвигавшейся грозы со стороны Дагестана и решил одновременно вести борьбу и с ним и с Чечней; летом войска действовали в Чечне и на Кумыкской плоскости, зимою – в Дагестане.

«Государь, – писал Ермолов в это время императору Александру, – внешней войны опасаться нельзя. Голова моя должна отвечать, если вина будет с нашей стороны. Но внутренние беспокойства гораздо для нас опаснее. Горские народы примером независимости своей в самых подданных Вашего Императорского Величества порождают дух мятежный и любовь независимости...»

Он просил об усилении Кавказского корпуса и писал, что «прибавленные полки уничтожат злодейскую власть ханов, которых правление не соответствует славе царствования Вашего Величества, а жители ханств, стенающие под тяжестью сей власти, уразумеют счастье быть подданными Великого Государя...»

И действия Ермолова в Дагестане отличались еще большей решимостью и быстротой, нежели в Чечне. Он начал с того, что зимою 1818 года, пройдя через шамхальство, разгромил Мехтулу и, уничтожив самостоятельность этого ханства, обратил его в простое русское приставство. В следующем году генерал-майор князь Мадатов, действуя с юга, со стороны Кубинской провинции, покорил Табасарань и весь Каракайтаг, dokonчив таким образом непрерывную приморскую полосу русских владений. В то же время Ермолов, со своей стороны, наступая с севера и соединившись с Мадатовым в шамхальстве, проник в самые недра гор, и битва под Лавашами, девятнадцатого декабря 1819 года, решила судьбу Северного Дагестана: сильная, воинственная Акуша была занята войсками и присягнула

на верность России. Еще год – и перестало существовать независимое Казикумыкское ханство. Так последовательно все теснее и теснее сжималось железное кольцо вокруг недоступных Дагестанских гор, и племена их, истощенные в непосильной борьбе, на долгое время замолкли.

С этих пор до самого расцвета в горах мюридизма, необыкновенно фанатизировавшего дух магометанского Кавказа, Дагестан не пытался ни разу возобновлять открыто враждебных действий против русских, и даже Персидская война 1826 года, начатая при самых неблагоприятных для нас условиях, не оказала на него влияния – горцы остались спокойными.

Обуздав Чечню и Дагестан, Ермолов в 1822 году решил окончательно обуздать и кабардинцев. Кабарда, расположенная между реками Кубанью, Малкой и Тереком, была сравнительно спокойна. Но время от времени волновались и ее племена, угрожая русским границам, селам и особенно сообщениям по Военно-Грузинской дороге. Ермолов, желая сразу и навсегда прекратить возможность кабардинских волнений и набегов, поставил, как и в Чечне, ряд укреплений, расположив их при выходах из горных ущелий, образуемых долинами рек Малки, Баксана, Чегема, Уруха и Нальчика. И с тех пор Кабарда при всех превратностях кавказской борьбы оставалась постоянно спокойной, разделяя собою во все последующее время воюющий Кавказ на два совершенно отдельных театра войны; Чечню и Дагестан на востоке и прикубанскую Черкесию – на западе.

Став твердой ногой в Кабарде, Ермолов нашел возможным значительно обезопасить сообщения с Закавказьем перенесением Военно-Грузинской дороги на левый берег Терека. Старая дорога от Моздока до Владикавказа, весьма неудобная, затруднительная для движения транспортов и подверженная частым нападениям хищников, была

оставлена. Ермолов проложил новый путь к Владикавказу из Екатеринограда, прикрытый слева, со стороны чеченцев, Терекон, а справа – рядом укреплений, поставленных в Кабарде, и с тех пор оказии ходили уже в сравнительной безопасности.

Владычество русских в крае утверждено было прочно, и даже роковой 1825 год, когда Чечня и Кабарда кровавым бунтом пытались низложить преграды, положенные для них Ермоловым, уже ничего не мог изменить в судьбе этих стран Кавказа – усмирение было быстро и решительно.

Но Ермолов, сделавший на востоке все, что было в силах замечательного ума и характера, по историческим обстоятельствам не мог многого сделать на западе. Черкесские племена, жившие по ту сторону Кубани, считались турецкими подданными, и самая Кубань служила рубежом с Турцией, опиравшейся в тех отдаленных от нее краях не на одну только веру, но и на сильные крепости Анапу и Сунджук-Кале, столько раз уже завоеванные и столько раз возвращаемые ей обратно. И турки, всегда с удовольствием смотревшие на разорение русских пределов, тайно поощрявшие горцев к набегам, ревниво оберегали их в их собственных землях, и появление одного казака за Кубанью вело к бесконечным протестам, спорам и дипломатической переписке. Напрасно с 1820 года Черноморское войско перешло в сильные руки Ермолова, напрасно целым рядом крутых энергичных мер, принятых на линии, и неоднократными большими походами в Закубанские земли давались черкесам суровые уроки – корень зла лежал глубже; до тех пор, пока Турция стояла на прикавказском Черноморье, мир на Кубани был невозможен. И во все время командования Кавказом Ермолова Кубань была ареной борьбы, и смерть там грозила ежеминутно всякому, кто переступал этот заповедный порог.

Таковы военные дела Ермолова на Кавказе и результаты, им достигнутые. В русской военной литературе появлялись мнения, что военные действия во времена Ермолова были не трудны, что горцы, разобщенные между собою, питавшие страх к артиллерии, не могли оказывать упорного сопротивления и разбегались от одного гула пушечных выстрелов. Не трудно оценить и всю неправильность подобного вывода. Разве до Ермолова Гудович, Глазенап, Булгаков, Портнягин и Ртищев не имели дела с той же разрозненностью горцев и не громили их той же картечью и ядрами? Между тем результаты были иные.

Прозревая в будущее и зная, что война родит ненависть, родящую войну, Ермолов рассчитывал не на одну силу оружия, а пользовался и всеми представлявшимися ему мирными средствами для укрепления Кавказа за Россией и для развития в нем благосостояния. Первая из этих расчетливых мер была политическая система присоединения ханств. Систему эту, примененную, как мы видели, во время военных действий в некоторых странах Дагестана, он широко развил и в Закавказье. Воспользовавшись тем, что шекинский хан умер бездетным, он тотчас ввел в ханстве русское управление. Хань Карабага и Ширвани, недовольные крутыми мерами, стеснявшими их деспотический произвол, бежали в Персию – и Карабаг и Ширвань стали простыми русскими провинциями. Только в далеком Талышинском владении Ермолов не без расчета оставил прежнего хана, полагая, что тот всегда останется верен России, боясь персиян, вечно стремившихся захватить его владения. В общем получилась картина полного и прочного присоединения к России всего Закавказья.

Трудная задача, выполненная Ермоловым, требовала, конечно, и соответствующих сил, и он нашел их в кавказском солдате. Но и кавказский солдат обязан ему именно той высотой нравственного духа, который отличает его.

Как всякий замечательный полководец, Ермолов понимал, что победа бывает всегда результатом нравственного единения вождя с предводимыми, что любовь солдата к полководцу есть сила, – и много забот положено было им на то, чтобы воспитать солдата именно в духе войны и облегчить всегда сопряженное с тяжестями положение его; он смотрел на солдат не как на мертвую силу, хотел поднять до известной высоты личность каждого из них и в своих приказах называл их товарищами. Понятно, что он пользовался, как всякий замечательный полководец, глубокой любовью солдата.

Наличные военные силы, находившиеся в то время на Кавказе, были при всем том недостаточны для выполнения военных проектов Ермолова. Когда он вступил в командование корпусом, он нашел некомплект в кавказских полках до двадцати семи тысяч штыков, и по его настоятельным требованиям решено было наконец довести Грузинский корпус до полного боевого состава. Но вместо того, чтобы пополнить его рекрутами, которые не скоро бы свыклись и с климатом, и с тяжестями военной жизни, император Александр повелел отправить туда шесть пехотных полков в полном трехбатальонном составе. С этой целью из армии и выбраны были полки: Тенгинский, Навагинский, Мингрельский, Апшеронский, Куринский и Ширванский, носившие названия по кавказским местностям, и учреждения которых относились еще ко временам существования Низового корпуса.

Затем те полки, которые уже находились на Кавказе, но носили русские названия – Вологодский, Суздальский, Казанский, Белевский, Троицкий и Севастопольский, – должны были отделить от себя столько офицеров и нижних чинов, сколько было нужно, чтобы довести прибывшие полки до полного боевого комплекта, и затем в кадровом составе возвратиться в Россию.

Та же самая мера принята была по отношению и к егерским полкам, из которых старые: девятый, пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый отправлялись в Россию, а новые: сорок первый, сорок второй, сорок третий и сорок четвертый оставались на Кавказе.

Таким образом переменился почти весь состав Грузинского корпуса. Из старых частей в нем оставались только полки гренадерской бригады, Нижегородский драгунский и два пехотные: Тифлисский и Кабардинский, но последний должен был перейти из Грузии на Кавказскую линию.

Не надо, однако, думать, чтобы с переменой полков переменился и состав собственно людей Грузинского корпуса. Огромное большинство старых кавказских солдат и офицеров, участников прежних походов, осталось на Кавказе, слившись с пришедшими из России опытными же войсками, которым они и сообщили свой кавказский дух. В Россию же вернулись почти одни знамена тех полков, в которых они состояли до тех пор, и под эти знамена там должны были стать рекруты.

При этих переменах произошел эпизод, наделавший непостижимую путаницу в распоряжениях, приведшую к бесконечной переписке и поставившую в тупик три полка, не могших никак уяснить себе: что произошло с ними в 1819 году? Эпизод этот необходимо знать, чтобы ясно представлять себе последующее участие в военных действиях этих полков.

Дело в том, что Ермолов, желая оставить свой любимый Кабардинский полк в Грузии, распоряжением от четвертого ноября 1819 года взял да и переименовал его в Ширванский; но так как имя Кабардинского полка все же должно было остаться, то Казанскому полку, находившемуся на линии, приказано было именоваться Кабардинским, а все, что осталось от настоящего Ширванского полка, под именем Казанского отправлено обратно в Россию. И все это

вместо самого простого представления разрешить Кабардинский полк оставить в двадцатой, а Ширванский в девятнадцатой дивизии, что даже следовало сделать, дабы избежать напрасного передвижения через горы штабов Кабардинского полка на Кавказскую линию, а Ширванского, прибывшего уже в Георгиевск, в Грузию.

Эта перетасовка, а также бумаги, писанные тяжелым неясным языком, до того затемнили дело, что когда делались, например, предписания одному из этих полков, они попадали в другой, носивший прежде то же имя, или наоборот, так как одни называли полки по-старому, другие по-новому. Сам Кавказский штаб наконец сбился с толку, в Петербурге же и вовсе не могли уяснить себе, что такое произошло с полками.

Чтобы яснее показать, какова была путаница, достаточно взглянуть на судьбу полковых знамен в этих трех полках. Мальтийские знамена, полученные Кабардинским полком за поражение лезгин седьмого ноября 1800 года на Иоре, поступили в Казанский, который никогда за Кавказом не был; Георгиевские знамена, данные Ширванскому полку за сражения против французов, очутились в Кабардинском полку, который никогда ни одного француза не видел, а на долю ширванцев, героев Краона, достались простые знамена Казанского полка, с которыми они и ушли в Россию.

Правда, спустя несколько лет, в мае 1825 года, последовало высочайшее повеление: «Всем трем полкам именоваться прежними своими названиями», но это нисколько не поправило дела. Чтобы в действительности возратить каждому полку прежнее имя, которое он носил до 1819 года, пришлось бы: Ширванский полк опять назвать Кабардинским; Кабардинский – Казанским и отправить его в Россию, а из России Казанский полк, назвав его Ширванским, отослать на Кавказ. Но подобное передвижение,

сопряженное с большими издержками, само собою не могло быть приведено в исполнение, и дело кончилось тем, что храбрый Кабардинский полк, в полном своем составе, продолжал и кончил так доблестно начатую им кавказскую войну уже под именем Ширванского, а казанцам, не имевшим прежде случая составить себе на Кавказе известности, пришлось приобретать себе новую славу, чтобы достойно носить славное и грозное врагам имя Кабардинцев. К счастью, семя упало на добрую почву, и, быть может, самое имя Кабардинского полка постояло за себя. Не прошло десяти-пятнадцати лет, как летописи кавказской войны уже опять были полны этим именем и за Кубанью, и за Сунжей, и в недрах Дагестана – везде, где наши войска вели ожесточенную борьбу с усиливавшимся тогда мюридизмом. Самые кровавые эпизоды, самые изумительные геройские подвиги связаны с именем кабардинцев. «Таково значение полкового имени и такова сила полкового предания», – замечает Зиссерман в своей «Истории Кабардинского полка».

Переформирование Грузинского корпуса завершилось в конце 1820 года, а вместе с тем изменилось и самое имя его, что имело свой смысл, свое весьма большое значение.

Владычество России распространилось в то время уже далеко за пределы Грузии, которая составляла лишь небольшую центральную часть наших владений за хребтом Кавказских гор. И чтобы убедить разнохарактерное и в высшей степени разнообразное население в том, что отныне все, что живет на Кавказе и в Закавказье, должно составлять одно целое с Русской империей, название Грузинского корпуса было упразднено, и войска, расположенные как в Грузии, так и на Кавказской линии и в Черномории, получили общее наименование – Кавказского корпуса.

Но посреди военных забот Ермолов не упускал из виду и других интересов отечества. Его внимание устремлялось

и на восточный берег Каспийского моря, где он хотел завести торговую факторию. Его заботили также улучшение быта и жизни грузин посредством распространения среди них образования, украшение Тифлиса, начавшего малопомалу принимать при нем вид европейского города, развитие отраслей местной промышленности, особенно маренководства, шелкозаводства и виноделия. В этих же видах он поселил в Грузии до пятисот виртембергских семейств, которые образовали несколько колоний и могли служить местному населению образцом хозяйственного порядка и довольства, которого может достичь поселянин трудом и умением пользоваться богатыми дарами природы.

Так, во время пребывания своего на Кавказе, Ермолов отдавал ему всю свою жизнь, все силы своего ума и все свои помыслы. Но в 1821 году Кавказ едва не потерял его.

Революция в Италии потребовала значительных усилий для своего подавления, и император Александр, находившийся тогда в Лайбахе, назначил на помощь Австрии стотысячную русскую армию. Ермолов был вызван в Петербург, а затем высочайшим рескриптом – в Лайбах. Было уже и секретное распоряжение о назначении его главнокомандующим, но революция потухла, и русские войска получили приказание остановиться.

«Таким образом, – говорит Ермолов, – сверх всякого ожидания моего, был я главнокомандующим армии, которой я не видел, и доселе не знаю, почему назначение мое должно было сопровождаться быть тайною».

Но Ермолов, если судить по его словам, и не был доволен готовившимся ему назначением. «Конечно, – говорит он, – не было доселе примера, чтобы начальник, предназначенный к командованию армией, был столько, как я, доволен, что война не имела места. Довольно сказать, что я очень хорошо понимал невыгоды явиться в Италии

вскоре после Суворова и Бонапарта, которым века удивляться будут».

Еще до поездки Ермолова в Лайбах граф Аракчеев, по приказанию государя, вручил ему Владимирскую ленту, а по возвращении в Петербург император назначил ему аренду в сорок тысяч рублей. Но Ермолов с редким бескорытием отказался от последней награды; он убедил государя взять назад уже подписанный указ и употребить эту сумму на помощь бедным служащим, обремененным семействами. «Равно великодушен был Государь, – говорит он, – и награждая меня, и выслушивая отзыв мой, что я награды не приемлю. Могу признаться, что в отказ мой не вмешивалось самолюбие, но почитал я награду свыше заслуг моих и мне ни по каким причинам не принадлежащую. Средства существования, хотя не роскошные, доставляла мне служба, а вне оной не страшился бы я возвратиться к тому скудному состоянию, в котором я рожден».

И высочайший рескрипт, уже заготовленный на имя Ермолова, был уничтожен. «Я знаю, что ты ничего не имеешь, – сказал ему государь, – и тем более благодарю тебя за твой деликатный и бескорыстный поступок».

Враги Ермолова толковали, что это уловка, хитрость с его стороны и что в этом отказе крылась задняя мысль – желание получить со временем более. «Жаль, – замечает со справедливой иронией историк Ковалевский, – что они сами не прибегли к такой же уловке, от этого наши финансы конечно много бы выиграли».

Таким образом, вызов Ермолова в Лайбах и пребывание его при особе государя не принесли ему лично никаких существенных выгод; но это не отдалило от него неудовольствия тех, которые почитали себя вправе быть ему предпочтенными, и даже умножило число его врагов и завистников, «Немного оправдался я в глазах их, – говорит

Ермолов, – оставшись тем же, как и прежде, корпусным командиром».

Двадцать восьмого октября 1821 года Ермолов был уже снова на лелеемом им Кавказе, «чего, – как замечает он, – многие не ожидали», и плодотворная, богатая результатами деятельность его в крае продолжалась еще пять лет.

1826 год сделался переломом и в жизни Кавказа и в жизни Ермолова. Обстоятельства вдруг неожиданно переменились, и «над неуязвимым до того Ермоловым начала собираться грозная туча». В июне персияне внезапно вторглись в русские пределы, мусульманские провинции восстали. Опасность, угрожавшая Грузии, естественно заставила обратить все силы туда и оставить дела на Северном Кавказе до более благоприятного времени. Между тем и в горах уже становилось беспокойно; там зрел мюридизм, являлись признаки новой неведомой силы, и предвестники грядущей бури становились все ярче и неудержимее. Быть может, никогда так не был нужен Кавказу Ермолов, как в это время, но судьба распорядилась иначе; Ермолов должен был оставить его. Несколько отдельных неудачных действий, сопровождавших первые моменты персидского вторжения, – действий, не зависевших непосредственно от самого Ермолова, но которые он все-таки мог бы предвидеть и предупредить, послужили поводом к назначению на Кавказ Паскевича.

Ермолов пал. Но седые вершины Кавказа и поныне хранят память о славном вожде,

Чье имя, как завет священный,
Штыками врезано в горах.

ПЛЕН ШВЕЦОВА

Едва вступил Ермолов на кавказскую почву, как ему представился случай рельефно выказать свой взгляд на то, каковы должны быть отношения русских начальников к горским народам. Проезжая через Георгиевск в Тифлис, он остановил свое внимание между прочим на одном обстоятельстве, не имевшем общегосударственного интереса и тем не менее заинтересовавшем тогда всю военную Россию. Дело шло именно о выкупе из плена русского офицера, и Ермолов дал сразу поразивший всех пример той твердости, которая не могла не повести к счастливым результатам. Шестого февраля 1816 года проезжал по дороге в Кизляр из Казиюрта майор Грузинского гренадерского полка Павел Швецов, один из лучших боевых офицеров Кавказского корпуса, любимый ученик Котляревского, сподвижник славных его дел под Мигри, Ахалкалаками, Аславдузом и Ленкоранью. Швецов ехал из Шемахи в отпуск повидаться с родными и, чтобы сократить путь, направился не обыкновенной Военно-Грузинской дорогой, а на Кубу и в Дербент, рассчитывая через Дагестанские владения скорее пробраться на Терек, в Кизляр, где один из его старших братьев был полицмейстером.

Приехав в Казиюрт вечером пятого февраля, Швецов просил начальника укрепления, штабс-капитана Прошкова, снабдить его конвоем. Прошков резонно ответил, что на посту находится только одна рота пехоты и двадцать пять казаков, что они не имеют назначения конвоировать

проезжающих и что, наконец, за безопасность пути между Дербентом и Кизляром отвечают те горские владельцы, которым принадлежат попутные земли. Во всяком случае, по его мнению, было бы гораздо благоразумнее пробыть в Казиирте день или два, чтобы дожидаться оказии, которая пойдет отсюда до карантинной заставы. Швецов ответил, что ему нельзя терять времени, и обратился с просьбой о конвое к одному из кумыкских князей, Шефи-беку. Тот послал сына с четырьмя узденями, собралось еще несколько жителей, и составившийся таким образом отряд из девятнадцати человек верховых, не считая самого Швецова, выехал из Казиирта.

До Лашурина карантина доехали благополучно; миновали еще восемь-девять верст, и дорога пошла густым камышом, простирающимся до самого Терека. Уже до Кизляра оставалось верст шесть, когда из придорожного кустарника вдруг грянул залп, и партия, человек в пятьдесят конных, сидевшая в засаде, с гиком ринулась на путников. Лошадь под Швецовым была убита; он упал вместе с нею и едва вскочил на ноги, как на него уже напала целая толпа чеченцев. Отчаяние, однако, придало ему и силы и мужества; он выхватил шашку и стал защищаться. Трое чеченцев были изрублены, остальные отпрянули. Только тогда, оглянувшись кругом, Швецов увидел, что остался один. Из девятнадцати спутников его, трое, спасшиеся каким-то чудом, успели ускакать в Кизляр, одиннадцать лежали убитыми и трое – тяжело израненными; оба денщика Швецова были взяты в плен; вьюки – разграблены. Швецов не мог не сознавать отчаянности своего положения, и тем не менее, привычный к опасностям, он быстро составил план обороны, рассчитывая продержаться хоть с полчаса, чтобы дать время прискакать казакам из Кизляра. А на линии уже шла тревога, и глухие удары пушечных выстрелов доносились по ветру. Чеченцам также

медлить было нельзя. И вот, пока они, столпившись в кучу, старались выманить последний выстрел со стороны Швецова, и когда все внимание последнего было обращено именно на то, что делалось у него перед глазами, один из чеченцев скрытно, как змея, прополз ему в тыл и внезапным ударом сзади по голове поверг Швецова на землю. Тогда чеченцы толпою набросились на раненого, скрутили его арканами и взбросили на лошадь. Теперь им оставалось только избежать погони, и партия, чтобы запутать свой след, пустилась не прямо к горам, а камышами к Каспийскому морю.

Погоня между тем уже неслась из Кизляра. Трое татар, прискакав в город, подняли там тревогу, и старший брат Швецова, быстро собрав по шестидесяти конных ногайцев, поспешил с ними на место происшествия, чтобы отсюда начать преследование. По дороге от раненых, уже подобранных жителями, Швецов узнал, что брат его жив, но в плену, а далее ему указали и направление партии. Он тотчас обрезал след и понесся наперерез хищникам.

Тогда уже и капитан Прошков со своими казаками, и сам владелец Шефи-бек, и соседние кумыкские князья также отправились в погоню за партией. Но пока они искали ее в камышах, по берегу моря, Швецов уже напал на след и преследовал партию до самой ночи. И она, наконец, была достигнута. Хищники, в свою очередь увидев, что им не уйти без боя, остановились. С их стороны выехал парламентар, а между тем они вывели вперед и пленного Швецова, по бокам которого стали двое чеченцев с обнаженными кинжалами. Парламентар объявил, что если чеченцев не пропустят, они будут драться до последнего человека, но что первой жертвой неминуемо делается пленный, которого зарежут, чтобы никто не осмелился после сказать, что татары отбили у них добычу. Несчастный пленник, хорошо сознавая свое положение, сам просил

брата не домогаться его освобождения, положившись с полным упованием на милосердие Божие. Волей-неволей пришлось покориться обстоятельствам; условия были заключены, и чеченцы, отпустив одного из пленных денщиков, спокойно потянулись в горы.

Несколько дней путешествия – и горцы достигли наконец аула Большие Атаги. По обычаю своей родины они еще издали возвестили об удачном набеге ружейной пальбой и этим вызвали из саклей навстречу к себе все, что только могло участвовать в общей народной радости. И старые, и молодые теснились около смелых наездников и рассматривали пленного. Находились фанатики, подбегавшие к нему только за тем, чтобы нанести оскорбление, – плюнуть ему в лицо, ударить камнем или, вынув кинжал, показать, с каким удовольствием они, если бы можно, изрезали его на части. Их без церемонии, однако, отгоняли нагайками, и пленного бережно доставили в дом к одному из почтеннейших стариков аула. Здесь его посадили в какую-то тесную каморку, набили на него кандалы и, протянув тяжелую цепь сквозь стену в смежное отделение сакли, приставили караульных. Вероятно, чеченцы принимали Швецова за лицо весьма значительное; по крайней мере, вопреки обыкновению заменять одежду пленника рубищем, они оставили на Швецове мундир и даже не коснулись бывших на нем орденов. В таком положении пленный оставался около двух месяцев. Чеченцы, не видя со стороны его никаких попыток к побегу, ослабили цепь, стали его лучше кормить и, наконец, позволили писать родным и хлопотать о выкупе, назначив цену – десять арб серебряной монетой.

Случилось, что в это самое время родственники Швецова, кабардинские князья, собрали до полутора человека отчаянных головорезов и скрытно отправились в Чечню с тем, чтобы или выкрасть пленного, или отбить его оружием.

Попытка эта не имела успеха и лишь жестоко ухудшила положение узника. Чеченцы узнали, что в окрестных лесах скрывается партия кабардинцев, и догадались, в чем дело. Тогда они вырыли яму глубиной до четырех аршин, вкопали в нее толстый столб, и Швецова, скованного опять по рукам и ногам, спустили на веревках в это подземелье, там приковали его к столбу и бросили для подстилки ему пук гнилой соломы. Верх ямы они заделали толстыми досками, оставив одно небольшое отверстие для воздуха. В этом ужасном жилище страдалец должен был провести год и четыре месяца.

Письмо Швецова, посланное с его денщиком, между тем получено было на линии. Генерал Дельпоццо тотчас сообщил об этом матери Швецова, но просил ее ничего не писать сыну о намерении правительства выкупить его из плена, рассчитывая сбить чеченцев с требуемой суммы. Чеченцы, действительно, сбавили цену и, вместо десяти арб серебра, стали требовать двести пятьдесят тысяч рублей. Такой огромной суммы, конечно, взять было неоткуда. Тогда в судьбе несчастного принял горячее участие израненный герой Ленкорани, Петр Степанович Котляревский. Он написал письмо своему доброму приятелю, контр-адмиралу Головину, и два благородных товарища, знавшие Швецова с давних пор, сделали через газеты воззвание к русскому обществу. По всей России открыта была подписка для сбора посильных приношений, и Котляревский и Головин были первыми вкладчиками в эту священную сумму. Благородный призыв их нашел отголосок во всех слоях общества, и даже простые солдаты, не хотевшие отстать в этом общем единомышленном движении, несли свои лепты; так, нижние чины бывшего корпуса графа Воронцова, стоявшего во Франции, сделали между собою постановление: отдавать на выкуп Швецова половину своего третнего жалованья. Все пожертвования собирались в

одну общую кассу и скоро достигли весьма значительной цифры.

В таком положении были дела, когда на Кавказ явился Ермолов. Торопясь в Тифлис и в Персию, он лично не мог хлопотать об освобождении пленного, и тем не менее он круто повернул дело к благополучному исходу. «Честью отвечаю вам, – писал он собственноручно матери Швецова, – что заступающему мое место поставлено будет в особую обязанность обратить внимание на участь сына вашего, и он столько же усердно будет о том заботиться, как и я сам. Нас всех должна побуждать к тому обязанность печься об участи товарищей по службе». И, выезжая из Георгиевска, он, действительно, приказал генералу Дельпоццо вызвать всех кумыкских князей и владельцев, через земли которых провезен был Швецов, заключить их в кизлярскую крепость и объявить, что если через десять дней они не изыщут средства к освобождению Швецова, то все, в числе восемнадцати человек, будут повешены на крепостном бастионе.

Такая решительная мера заставила арестованных подумать о спасении уже собственной жизни, и они скоро успели склонить горцев понизить сумму выкупа до десяти тысяч рублей. Но Ермолов не хотел платить и этих денег от имени русского правительства; он вступил в секретные переговоры с аварским ханом, «с другом всех мошенников» – так называет его сам Ермолов, и устроил дело так, чтобы тот вел переговоры от собственного лица и предложил на выкуп собственные деньги. Пока дело улаживалось, Ермолов все время держался в стороне, и только тогда, когда Швецов уже был на свободе, он, как бы в виде особой милости, приказал возвратить аварскому хану истраченную им сумму. Таким образом, только энергии Ермолова и обязано было это тяжелое дело скорым окончанием.

Между тем несчастный узник томился, ничего не зная о мерах правительства к его освобождению. Прошло более года, как он не получал никаких известий, и надежда на лучшие дни уже угасала в страдальческой душе его. Но вот однажды, когда в ауле только что пропели первые пети, он был разбужен необычайным шумом и понял, что доски, которыми наглухо была заделана яма, срывают. Прилив свежего воздуха в невыносимый смрад темницы поверг несчастного в беспамятство. Потом его вытащили из ямы, сняли с него оковы, крепко завязали ему глаза, посадили на лошадь и отправились в путь. Ехали все в глубоком молчании. Швецову всего естественнее было предполагать, что наступают последние минуты его жизни и что скоро ему придется предстать на позорное место перед собравшимся чеченским народом. Конец был известен. По обычаю страны его привяжут к дереву, и каждый из присутствующих на этом суде будет наносить обреченной жертве не смертельные, но мучительные удары ножом, пока, наконец, не потухнет последняя искра жизни в несчастном мученике. Но вот послышался какой-то шум; поезд остановился. Швецова сняли с седла и поставили среди дороги, не развязывая глаз. Несчастный слышал только, как чеченцы вдруг поскакали назад и как постепенно удали замирал топот их лошадей, но он был так измучен, что не мог сообразить причины их отъезда... И вот опять новый шум, новые восклицания!.. Со всех сторон бегут к нему люди, с глаз его срывают повязку – и он видит русских. Это был сильный отряд с орудиями, высланный на границу Чечни для принятия пленного. Впечатление неожиданной свободы было так сильно, что нервный припадок помутил ум несчастного. Искусство медиков, попечение родных и товарищей скоро возвратили ему рассудок, но глубокие следы от тяжелых оков на опухших ногах всю жизнь напоминали ему о пережитых страданиях.

Возвратившись из Персии, Ермолов обратил на освобожденного пленника особенное внимание, и через два-три года Швецов, после ряда блистательных подвигов, показанных им в Чечне и Дагестане, уже получил в командование Куринский полк, расположенный тогда в Дербенте. Будущность улыбалась Швецову, но судьба судила иначе. В Дербенте он заболел горячкой и в 1822 году скончался, искренне оплаканный товарищами.

Передавая эту грустную повесть, родной брат Швецова, также служивший на Кавказе и известный своим сочинением «О горских народах», говорит, между прочим, что и в последнем убежище праху брата его не суждено было спокойствие. Известный на Кавказе Амалат-бек, добивавшийся руки не менее известной Солтанеты, дочери аварского хана, по требованию последнего изменнически убил полковника Верховского, друга Швецова и его преемника по командованию Куринским полком. И Верховский и Швецов были похоронены рядом. Случилось, однако, что аварский хан потребовал от Амалата головы врага в доказательство, что тот действительно убит, и Амалат отправился за нею в Дербент. Татарин, живший близ города, взялся указать ему ночью на кладбище могилу Верховского, но второпях, несмотря на полный свет луны, они ошиблись местом, разрыли могилу Швецова и, вытащив труп, отрубили у него голову и руки. С этой кровавой добычей явился Амалат к аварскому хану, но нашел его на смертном одре. Хан умер, а кости Швецова были выброшены и остались навеки в чуждой земле лишенными места успокоения.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЕРМОЛОВА

Пред ним, за ним нет пышных титул,
Не громок он среди гордой знати,
Но за него усердный глас молитв
Непобедимой русской рати.

В. А. Жуковский «К портрету Ермолова»

Ермолов сошел с политической сцены в самую цветущую пору своей жизни, когда ему не было и пятидесяти лет от роду. Первые шаги в жизни частным человеком были чрезвычайно тяжелы. Как характер высокий и благородный, он принял высочайшее решение о его замещении Паскевичем «с величайшей покорностью, без малейшего изъявления неудовольствия или ропота», как писал о том государю Дибич. И однако же, несмотря на категорическое запрещение императором малейших оскорблений ему со стороны Паскевича, его удаление с блестящего прищита славы и незабвенных заслуг пред отечеством не обошлось без оскорблений. Когда он, уже уволенный от должности, оставался еще в Тифлисе, приводя в порядок свои дела, Дибич, по свидетельству Погодина, прямо советовал ему поспешить с отъездом, так как Паскевич мог сделать ему неприятность, и Ермолов уехал.

Грозный главнокомандующий тех войск, в которые он вложил суворовский дух, выехал из Тифлиса в той же простой рогожной кибитке, в которой десять лет назад его встретили здесь, выехал с третным жалованьем в кармане

и с глубокой раной в сердце. «Новое начальство, – говорит он в своих записках, – не имело ко мне даже и того внимания, чтобы дать мне конвой, в котором не отказывают ни одному из отъезжающих. В Тифлисе я его выпросил сам, а на военных постах по дороге давали его начальники по привычке повиноваться мне». А как необходим был этот конвой, можно судить уже по тому, что под Урухским укреплением, недалеко от минарета на Военно-Грузинской дороге, только за час до его проезда чеченская партия отогнала табун у Татарханова аула, и сам Татархан, один из храбрейших осетин, был убит в перестрелке.

Миновав Кавказ, Ермолов заехал в Таганрог – единственно затем, чтобы видеть место кончины своего благодетеля, императора Александра Павловича, вместе с которым было похоронено его счастье, и затем заключился безвыездно в бедной орловской деревушке своего отца.

Неприветливо встретила уездная глушь и тишь знаменитого главнокомандующего, привыкшего к власти и блеску тысяч штыков, послушных мановению его руки. Надо было создавать для себя новый быт с новыми интересами, и жизнь Ермолова была скучна и угрюма. Старик отец и сестра – вот все его общество; к счастью, он имел значительную библиотеку, и истинных, неизменчивых друзей для себя он нашел в творениях великих писателей. Часть времени отдавалась, впрочем, механической работе – переплету книг, и в этом искусстве Ермолов достиг впоследствии значительного совершенства.

К своему новому положению он относился спокойно, хотя не без иронии и не без горечи. «Тебе Мазарович все скажет, относящееся до меня, – писал он шестнадцатого августа своему приятелю, статс-секретарю Кикину, – он был в Тифлисе последнее время моего пребывания там, и ты услышишь множество странных вещей... Ты не удивишься, ибо нет ничего нового под луной, и может быть,

найдешь не совсем справедливым поведение могущественных людей против меня, но и сие весьма обыкновенно...»

Среди своего уединения Ермолов с понятным интересом следил за делами Кавказа. И как ни глубоко страдало оскорбленное самолюбие его, он умел оставаться справедливым даже по отношению к своим открытым врагам. «Удивляет меня, – писал он Кикину двенадцатого октября 1827 года, когда еще свежи были нанесенные ему раны, – удивляет меня, что дела в Персии идут не совсем успешно. Однако же, если, как ты уведомляешь, пошел Паскевич с тридцатью тысячами прямо в Тавриз, он даст оборот делам...»

В Орле Ермолов жил очень скромно и простым по суровости солдатским бытом напоминал героев древности, с которыми любили его сравнивать современники. Да и не на что было позволить себе иной образ жизни. Из всего содержания ему оставлено было только одно жалованье, не превышавшее четырех тысяч рублей ассигнациями, и это было все, что он имел, потому что во всю свою службу постоянно отказывался от получения аренд и денежных наград, которые настойчиво предлагал ему неоднократно император Александр Павлович. Уже впоследствии положение Ермолова изменилось к лучшему, и, как говорят, вот по какому обстоятельству. Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, услышав о таком скудном содержании Ермолова, как-то сказала у себя за столом, что почла бы за счастье, если бы Алексею Петровичу угодно было взять в свое распоряжение ее подмосковное имение (оно стоило более миллиона). Слова эти были доведены до государя, и Ермолов стал получать по тридцать тысяч рублей ассигнациями в год. Эти-то деньги, сберегаемые более нежели скромной жизнью, и сделались основанием оставленного им небольшого состояния.

Уволенный от службы, Ермолов облачился в непривычное для него статское платье, и это обстоятельство

служит ему поводом к новой иронии над самим собою и над тем положением, в которое он был поставлен. В высшей степени любопытно и характеристично в этом смысле следующее письмо его, писанное жене Кикина:

«Чудесна счастливая мысль прислать сукна на сюртук, ибо не только я буду иметь вид щегольский, но избавлюсь от насмешек, которые, конечно, вызвал бы я собственным вкусом. Я уже готов был выбрать какой-то аптекарский цвет и появиться в свет в этой микстуре. Уже в тяжких спорах были мы с Анной Петровной (с сестрой), а как мне, теперь отставному, повелевать некем, то я находил

Хоть дел великих окончанья
 Рукою ты не довершил,
 Но дух твой из глуши изгнанья
 Других к победам предводил.
 Свершить – тебе не дали время,
 Но всюду там твои следы;
 Тобою брошенного семя
 Россия соберет плоды...»

И действительно, современники знали, кто был истинным виновником громких побед и в Персии и в азиатской Турции. Но вот начинается польская война; русские разбиты, почти оттеснены к границам. Шесть месяцев продолжают неудачи. Поляки ликуют и мечтают. Они вспомнили о Ермолове и, не зная великости его русской души, провозглашают от имени его мятежную прокламацию к русскому войску. По странной случайности первые экземпляры ее попались в руки Дениса Давыдова. Сочли за нужное довести о ней до сведения Ермолова. Ермолов отвечал с чувством оскорбленного достоинства упреком, как можно было удостоить внимания такую нелепую клевету. «Вы узнали, – писал он Давыдову со своей обычной иронией, – о моих походах; этого мало: вы, верно, услышите скоро о моих

победах, в которых жестокая судьба так долго отказывает генералу Дибичу!»

Поляки, между тем, продолжают брать верх; во враждебной Европе проносится радостный гул от края до края; поднимается говор и в безмолвном отечестве, и взоры всех устремлены на Ермолова. Но вызван Паскевич из Грузии. Он двинулся к Варшаве – и взял ее приступом... А Ермолов живет в деревне, читает реляции, переплетает книги...

В 1831 году Ермолов лишился отца. Тогда он продал свое орловское имение и переехал на жительство в Москву, где имел случай оценить всю глубину уважения и сочувствия к себе, жившие в сердце России. Всем памятна первая встреча его в московском дворянском собрании. «Он прибыл, – говорит очевидец, – в черном фраке с одним георгиевским крестом в петлице (крест этот Ермолов получил из рук великого Суворова и никогда с ним не расставался). При его появлении в зале мужчины и дамы, все без исключения, встали и встретили поклоном отставного героя».

Москва переживала в тот год тяжелое холерное время, и император Николай сам прибыл в Москву, чтобы успокоить и ободрить население древней столицы. Ермолов получил приглашение явиться во дворец. Он прибыл туда в отставном мундире; государь увел его в кабинет и, как тогда говорили, сам надел на него эполеты. На следующий день последовало представление императрице, которая была смущена и сказала ему: «Я бы вас сейчас узнала, генерал, так все ваши портреты похожи на вас». Вскоре вошел государь, и вместе втроем вышли они из кабинета перед взорами удивленной московской знати...

«Я хочу, – сказал ему государь, – всех вас, стариков, собрать около себя и беречь, как старые знамена». Ермолов назначен был тогда членом государственного совета и должен был переехать в Петербург. Государь продолжал

оказывать ему свое благоволение. Однажды он пригласил его и Паскевича вместе с собою в Кронштадт; там их встретил знаменитый адмирал Беллинсгаузен, до тех пор никогда не видевший Ермолова. «Перед вами стоит обладатель острова на Тихом Океане», – отрекомендовался ему Алексей Петрович, намекая на то, что остров, открытый Беллинсгаузеном, был назван им островом Ермолова.

Беллинсгаузен, чисто русский человек, несмотря на свою немецкую фамилию, стал с тех пор одним из лучших друзей Ермолова.

Обязанности члена государственного совета, между тем, только тяготили Ермолова. Его назначили членом комиссии по преобразованию карантинного устава, где он не мог оказать ни малейшей пользы, и в то же время он не попадал в такие комитеты, где дело шло о преобразовании войск или решались другие знакомые ему чисто военные вопросы. «Ваше величество, – сказал он однажды государю, – вероятно, потеряли из виду, что я лишь военный человек и не могу быть полезным в новых моих назначениях». На это государь ответил ему: «Верно, ты слишком любишь отечество, чтобы желать войны; нам нужен мир для преобразований и улучшений, но в случае войны я употреблю тебя». Тем не менее военный министр предложил Ермолову занять пост председателя военного генерал-аудиториата. Ермолов отказался и от этого назначения. «До сих пор, – сказал он графу Чернышеву, – единственным моим утешением была привязанность войска, и я не хочу потерять ее, сделавшись наказателем». Видя себя бесполезным в звании рядового члена государственного совета, он просил увольнения от присутствия в нем и, получив его, в марте 1839 году снова удалился в Москву.

В то время, по выражению его биографа Погодина, можно было сказать про Ермолова, что его страсти утихали,

вспыхивая только изредка в острых словах или сдерживаемых движениях, волосы побелели, орлиный взгляд начал угасать. Ермолов купил себе деревянный дом в Москве и с этого времени считает он свою мудрость.

Образ его жизни остался тот же, что и в деревне. Вставал он в шесть часов и тотчас одевался, не зная никогда ни шлафрока, ни туфлей, ни спальных сапог, надевал свой казинетовый сюртук и садился за стол в кабинете, куда подавался ему чай. Время до обеда посвящалось работе и занятиям: после него остались весьма интересные записки, охватывающие собою период его служебной жизни с 1812 по 1826 год. Слог Ермолова тяжел, напоминает екатерининское время, но отличается остроумием, своеобразными оборотами речи, колкостью, блещет юмором, а подчас возвышается до истинного красноречия.

Захочет – о себе, как Тацит, он напишет

И лихо рукопись свою переплетет, –

сказал про него Жуковский.

В три часа следовал неизменный неприхотливый обед: из пирога, щей и жаркого; потом опять занятия, а вечером Ермолов любил принимать гостей и сидеть долго, за полночь, пока слуга Мемека, как Суворову Прошка, не напоминал, что пора ложиться спать.

В высших петербургских сферах на Ермолова продолжали смотреть недоброжелательно, но государь лично оказывал ему все признаки своего благоволения. В 1838 году Ермолов был приглашен сопровождать его на Бородинское поле и как очевидец объяснял подробности сражения, в котором играл такую крупную роль. В день открытия Кульмского памятника государь прислал ему Андреевский орден – высшую награду, которой он до сих пор не имел.

Русская армия чтит в нем героя Валутина, Бородина, Кульма и Парижа, и потомство с удивлением не встретит

славного имени его ни на одном из памятников, воздвигнутых в воспоминание 1812, 1813 и 1814 годов. Но память о нем жила крепче бронзы и мрамора. И вот когда девятого апреля 1849 года в Москве праздновался день учреждения Преображенского полка, сам главнокомандующий Гвардейским корпусом великий князь Михаил Павлович, в сопровождении наследника престола и всех наличных офицеров, отправился после дворцовой церемонии к знаменитому ветерану русской славы, под начальством которого императорская гвардия покрылась победными лаврами и Преображенский полк заслужил Георгиевские знамена.

«И как приятно и сладко москвичам было видеть, – говорит Погодин, – этот торжественный поезд сына царева государя наследника и брата царева, со всеми представителями русской гвардии, к деревянному семиоконному домику на Арбатском бульваре, где живет убеленный сединами герой Бородина, Кульма и Кавказа, где над низкой крышей ярко горит луч русской славы».

Но этим внешним почетом и ограничивалась, впрочем, официальная общественная роль Ермолова. Удаленный от дел, он находил себе утешение в той необычайной популярности своего имени, которая проходила через все классы населения и служила ему живым свидетельством его заслуг перед родиной. Один за другим являлись факты, выражавшие это отношение к нему общественного мнения. Когда граф Воронцов перед отъездом на Кавказ был выбран в почетные члены английского клуба, в обществе тотчас заговорили: «Нельзя выбирать Воронцова, не сделав по крайней мере того же самого для Ермолова». И Ермолов, далекий от всяких влияний и связей, уединенно доживавший свой век в Москве, вдруг единогласно выбирается в почетные члены петербургского английского клуба.

«Когда Алексей Петрович, – рассказывает один современник, – появлялся в театре или в собрании, приверженные к

нему русские люди, и старые и молодые, оборачивались всегда в ту сторону, где стоял Ермолов, опершись на свою верную саблю, и задумчиво смотрели на его белые волосы, на эту львиную голову, твердо стоявшую еще на исполтинском туловище, и в потускневших глазах его искали глубоко запавшие мысли... Все проезжавшие через Москву кавказцы и всякий, кто только ценил в Ермолове представителя русского ума и русской славы, заезжали поклониться «батюшке Алексею Петровичу», как называл его обыкновенно великий князь Михаил Павлович. Это утешало и радовало Ермолова.

Русская лира не хотела отстать от общественного мнения и не раз возвышала свой благородный голос за униженное достоинство: имени Ермолова посвящено много поэтических произведений. На одном из московских вечеров, где был Ермолов, поэт Глинка, поднимая заздравный кубок, приветствовал знаменитого гостя следующим экспромтом.

Умом затмил он блеск алмаза,
В боях был славный он боец,
Да здравствует герой Кавказа!
Да здравствует герой сердец!

Под буркою над русским станом,
С морщиной умной на челе.
Не раз стоял он великаном
Монументально на скале.

А шашка между тем чеченцев
Вела с штыком трехгранным спор;
И именем его младенцев
Пугали жены диких гор.

И вот еще из-за тумана,
Которым лик его покрыт,
Глядит героем Оссиана
Он на мельчающий наш быт.

И под маститой сединою,
Хоть взор орлиный и пригас,
Все баснословной стариною
И славой обдает он нас.

На этот экспромт Дмитриев отвечал не менее прекрасным стихотворением.

Ты бывал и сам средь боев,
Видел близко славы след;
Не из нынешних героев,
Ты – не нынешний поэт!
Оттого, как блеск алмаза,
Блещет твой гранитный стих,
И в тебе герой Кавказа
Вспламенил восторга миг!
Не видав войны кровавой,
Я смиренно созерцал
Мужа, избранного славой,
Петь не смел я – и молчал.
Я дивился исполину –
Исполинский был и век,
И как горную вершину
И его венчает снег.
Но как тот горит и блещет
В искрах солнечных огней,
Мне казалось, что трепещет
И над ним венец лучей!

Но где память о нем, где его слава были громки и вечны, так это в той стране, на которую он положил свои лучшие силы, опытность мужа и энергию героя. Кавказ помнит своего богатыря от края и до края.

Кавказский солдат с любовью вспоминал Ермолова, имя которого было для него символом победы и о котором бесконечны рассказы. «То ли дело при Ермолове!» – такая обычная фраза, долго жившая среди кавказского войска.

«При нем, – рассказывал однажды старый казацкий есаул, – бывало, наберемся и страху и всего; ну, да и порадоваться было чему. Картина – посмотреть на Ермолая (так горцы звали его). Чудо-богатырь! Надень он мужицкий тулуп и пройди промеж черного народа, – ей-Богу! – ни разу не видавши, узнаете – сама шапка долой просится... Раз, как сейчас помню, в Чечнях это было, – идем ночью с отрядом. Темно, хоть глаз выколи, дождь так и поливает, грязь по колено. Вот солдаты и раздобаривают. Я был в конвое, так еду за Алексеем Петровичем, да тоже слушаю.

– Ай да поход! Хоть бы знать – куда? – а то пропадешь ни за что; ноги не вытащишь – такая грязь.

Мы все слышим – и ни гу-гу. Как трогался отряд с места, Алексей Петрович оставался зачем-то в крепости, а потом догнал отряд и едет себе сторонкою. Темно – его и не видно солдатам; стали мы уже равняться с головой колонны, пехтура все болтает:

– Вишь, повели! А куда? Черт знает, да и какой дьявол ведет-то. Хоть бы Алеша-то наш был с нами...

– С вами, ребята, с вами! – вдруг загремел знакомый богатырский голос.

Батюшки мои! Как грянут “Ура!” – так аж в ушах затрещало; куда и дождь и грязь девались; песенники вперед, ряды стянулись, пошли как по плац-парадному месту, бодро, весело, в охотку; духом отхватили сорок пять верст.

Вот было время, так время! Бывало, только скажет:

“Ребята, за мной!” – “Ура!” – загремит в ответ; нужды нет – куда, зачем и с чем! Батюшка Петрович и накормит, и напоит, и к ночлегу приведет – в напасть не даст. Нехристь, бывало, как заслышит, что сам едет, куда и удаль девалась, не до фрижировки – так и ложится, бывало: бери живьем, налагай присягу, возьми и аманатов – только душу пусти на покаянье. Сама вражья сила говорит, бывало: “На небе – Аллах, здесь – Ермолай!”»

И вражья сила Кавказа, действительно, долго помнила и почитала знаменитого Ермолая. Горцы относились к нему с суеверным страхом, близким к невольному благоговению, и передали память о нем из поколения в поколение. Легенды их представляют его человеком гигантского роста, с огромной львиной головой, могущим все сокрушить одним мановением своей атлетической длани. «Горы дрожат от гнева его, – говорит одна из их песен, – а взор его рассекает, как молния».

Когда, по окончании турецкой войны 1829 года, перед отъездом с Кавказа графа Паскевича, разнесся слух, что главнокомандующим опять будет Ермолов, горцы заблаговременно приготовили аманатов. Спустя четырнадцать лет после этого они толпами съезжались в Шуру, прося позволения только видеть приехавшего тогда на Кавказ одного из сыновей Ермолова, о чем молва немедленно облетела все горы.

Когда Шамиля спросили в Москве, что он желает видеть, он ответил: «Прежде всего Ермолова». В альбоме князя Барятинского хранится рисунок, изображающий это характерное свидание двух знаменитейших бойцов Кавказа.

И во время военных действий, наверху своего могущества, Шамиль показывал всегда особое уважение к имени Ермолова и даже велел пощадить аул, в котором жили родные его кебинных жен. Мало того, на берегу Каспийского моря, неподалеку от Низового укрепления стояла изба, или, пожалуй, домик, выстроенный здесь когда-то войсками, бывшими с Ермоловым в походе, для укрытия от непогоды «батюшки Алексея Петровича». Домик этот построен был из чинар в два обхвата каждый, и при нем всегда стоял часовой, не столько для охраны домика, сколько из благоговейного чувства к памяти Алексея Петровича. Домик этот был дорог кавказским войскам, и все

его берегли, как славное предание минувшего времени. Вот почему в 1843 году, когда восстание охватило весь Дагестан, и Низовое было окружено неприятелем, все с грустью помышляли о печальной судьбе, которая должна была постигнуть этот домик, стоявший один-одинешенек посреди бушующего населения. Но такова сила исторического имени Ермолова, что при всеобщем, можно сказать, разрушении до этого домика не коснулась ни одна рука горского хищника, и по окончании смут, «мы, – говорит один очевидец, – вновь имели счастье поклониться этому скромному приюту великого кавказского деятеля».

Но, к сожалению, то, чего не сделали дикие горцы, сделало холодное равнодушие к исторической славе и невежество наших современников. В настоящее время вы уже не найдете и следов этого домика: он куда-то исчез, как исчезла еще более знаменитая грозненская землянка Ермолова.

Ермолов, со своей стороны, платил Кавказу той же полной любовью; он слишком, всеми фибрами своего сердца прирос к нему, чтобы не следить с горячим участием за всем, что делается в крае. А там, между тем, торжествовала система, противоположная его системе, и Ермолов, слишком хорошо знавший Кавказ, не мог не видеть печальных последствий этого. Он всегда и являлся в роли иронического предвестника событий.

Как известно, после Паскевича назначен был на Кавказ барон Розен, Розена сменил Головин, Головина – Нейдгардт, и дела там шли все хуже и хуже.

Когда смененный Розен приехал в Москву и посетил Ермолова, чтобы посоветоваться с ним, не следует ли ему поехать в Петербург для объяснений, Ермолов серьезным тоном ответил ему: «Погоди немного, скоро вернется Головин, и тогда мы втроем поедem в Питер». Головин, в

самом деле, не долго пробыл на Кавказе, и на его место отправился Нейдгардт. Узнав об этом, Ермолов сказал: «Ну! Нейдгардт, видно, что немец, – предусмотрителен: нанял себе дом в Москве заранее и дал задаток – знает, что скоро вернется».

Узнав же, что Розен и Головин собираются-таки поехать в Петербург, он при первой встрече сказал им: «Знаете ли что, любезнейшие: не обождать ли Нейдгардта? Он, вероятно, не замедлит приехать. Тогда найдем четырехместную карету, да так вместе, вчетвером, и отправимся в Питер». И Нейдгардт, действительно, не был счастливее своих предместников.

Только назначение Воронцова Ермолов приветствовал с истинным доброжелательством и предсказал ему блестящие успехи. Но, впрочем, и здесь значительную долю успехов он относил также к увеличению материальных средств в руках наместника. «Теперь за Кавказом, – говорил он, – двадцать генералов, а при мне был один Вельяминов, которого я вызвал к брату; теперь в каждом из пяти отделений такой штаб, как был у меня во всем корпусе; теперь войск под ружьем двести пятьдесят тысяч, а у меня было семьдесят. Теперь наместник получает на свое содержание сто пятьдесят тысяч рублей серебром, а я получал сорок ассигнациями и жил полгода в лагере, чтобы скопить денег на бал или на обед».

Уже на полном склоне дней Ермолову выпала честь вновь появиться в деятельной роли защитника отечества, и притом в один из самых критических моментов истории России.

Началась Севастопольская война. Заговорили о народном ополчении, и вся Москва, вспоминая избрание Кутузова начальником Петербургских дружин в 1812 году, выразила желание иметь начальником московского ополчения –

Ермолова. Избрание состоялось торжественное, единодушное, потому что из многих тысяч голосов в избирательной урне оказалось только девять черных шаров...

Невозможно изобразить волнения, объявшего всех присутствовавших в огромной зале благородного собрания, когда известно стало количество избирательных голосов. Долго не прерывались рукоплескания и крики восторга. В приветственной речи, обращенной по этому случаю к Ермолову, между прочим говорилось:

«Сам Бог сберегал вас, кажется, для этой тягостной години общего испытания. Идите ж, Алексей Петрович, с силами Москвы, в которой издревле отечество искало и всегда находило себе спасение, идите принять участие в подвигах действующих армий. Пусть развернется перед ними наше старое, наше славное знамя 1812 года. Все русские воины будут рады увидеть Вашу белую голову и услышать любимое имя; оно неразлучно в их памяти с именем Суворова, из рук которого вы получили первый Георгиевский крест, и с именем Кутузова, которому служили правой рукой в незабвенном Бородинском сражении».

Вся Москва ликовала. Купцы в рядах, извозчики со своими седоками – все толковало о Ермолове и радовалось, как будто победа уже осенила русские знамена и враги изгнаны из пределов отечества.

Графиня Ростопчина выразила это общее настроение Москвы в следующих звучных стихах:

Народный голос – голос Бога.
Он ныне громко вопиет:
«Вставай, Ермолов! Русь зовет!» –
Тебе знакома ведь дорога.
С единодушным увлеченьем
Тебя назначила молва,
И над московским ополченьем
Вождем поставила Москва.

Возьми рукой неослабелой
Свой старый меч – французов страх.
Наш вождь, в покое поседельный,
Помолодеешь ты в боях.

Вставай! Честь русского народа
Его врагам припомяни,
И пусть двенадцатого года
Великие воскреснут дни.

Вставай! Когда по всей России
Известен станет выбор наш:
Шатры воспещут боевые,
Хвалой откликнется шалаш!

Какой-то аноним ответил ей от имени Ермолова:

Не неизвестного поэта
Читал я добрые слова:
По звукам лестного привета
Вас прямо назовет молва.

Вы помянули год восстанья,
Для нашей славы дивный век,
Когда, услыша глас призванья,
Явился русский человек.

Вы правы! Пусть меня забыли,
Но наш не позабыл народ,
Когда Москву мы хоронили,
Двенадцатый свершали год.

И ныне чтут мои седины
В воспоминанье старины,
И этой памятной години
Ее достойные сыны.

Но горделивыми мечтами,
Поверьте, я не ослеплен:
Давно я удручен годами,
От дела битвы удален.

Давно заржавлен меч мой бранный,
Ослабла дряхлая рука, –
И пир кровавый, пир желанный
Едва ль по силам старика.

Московскому ополчению, как известно, не привелось принять непосредственного участия в деле защиты отечества.

Тихо и незаметно прошли последние дни героя в Москве; двенадцатого апреля 1861 года он скончался на восьмидесяти пятом году от рождения, сидя в своем любимом кресле, имея одну руку на столе, другую на колене; за несколько минут он еще, по своей привычке, притопывал ногою.

Невозможно лучше выразить чувств России при этой смерти, как некрологом газеты «Кавказ», умевшим не сказать ничего лишнего.

«11 апреля, в 11 ³/₄ часа утра, – говорилось в нем, – скончался в Москве известный всей России генерал от артиллерии Алексей Петрович Ермолов. Каждый русский знает это имя: оно соединено с самыми блестящими воспоминаниями нашей народной славы: Валутино, Бородино, Кульм, Париж и Кавказ – вечно передавать будут имя героя, гордость и украшение русского войска и народа.

Имя Ермолова дорого каждому русскому еще и потому, что он принимал участие в каждом умственном труде, поддерживал начинающего, благословлял его на новый труд и всегда был доступен людскому горю и несчастью.

Не исчисляем заслуг и званий Ермолова: его имя и звание – истинно русский человек в полном значении этого слова».

Любопытен факт, что смерть его не обошлась без легенды, характера странного и мистического.

Вот что рассказывал один из людей, близко знавших Ермолова.

«Однажды (говорил он), уезжая из Москвы, я захел проститься с Ермоловым и не мог при этом скрыть своего волнения.

– Полно, – сказал он, – мы еще увидимся, я не умру до твоего возвращения.

Это было года за полтора до его кончины.

– В смерти и в животе Бог волен! – возразил я.

– А я тебе положительно говорю, что умру не через год, а позднее, – сказал он, и с этими словами повел меня к себе в кабинет, вынул из запертого ящика лист исписанной бумаги и поднес его к моим глазам.

– Чьей рукой писано? – спросил он.

– Вашей.

– Читай.

Это было нечто вроде послужного списка, начиная с чина подполковника, с указанием времени, когда произошел каждый мало-мальский замечательный случай из его богатой событиями жизни.

Он следил за моим чтением, и когда я подходил к концу листа, он закрыл рукой последние строки.

– Этого тебе читать не следует, – сказал он, – тут обозначены год, месяц и день моей смерти. Все, что ты прочел здесь, – продолжал он, – написано вперед и сбылось до мельчайших подробностей. Вот как это случилось.

Когда я был еще подполковником, меня командировали раз на следствие в уездный город Т. Квартира моя состояла из двух комнат: в первой помешалась прислуга, а во второй я. Пройти в эту последнюю можно было не иначе, как через первую комнату. Раз ночью я сидел за письменным столом и писал. Окончив, я закурил трубку, откинулся на спинку кресла и задумался. Поднимаю глаза – передо мной, по ту сторону стола, стоит какой-то не известный мне человек, судя по одежде – мещанин. Прежде чем я

успел спросить, кто он и что ему нужно, незнакомец сказал: «Возьми лист бумаги, перо и пиши». Я безмолвно повиновался, чувствуя, что нахожусь под влиянием неотразимой силы. Тогда он продиктовал мне все, что должно со мною случиться в течение всей моей жизни, и заключил днем моей смерти. С последним словом он исчез. Прошло несколько минут, прежде чем я опомнился, вскочил с места и бросился в первую комнату, миновать которую не мог незнакомец. Там я увидел, что писарь сидит и пишет при свете сального огарка, а денщик спит на полу у двери, которая оказалась запертою. На вопрос мой: «Кто сейчас вышел отсюда?» – удивленный писарь ответил: «Никого».

– До сих пор я никому не рассказывал об этом, – заключил Алексей Петрович, – зная наперед, что одни подумают, что я выдумал, а другие сочтут меня за человека, подверженного галлюцинациям, но для меня это факт, не подлежащий сомнению – видимым осязательным доказательством которого служит вот эта бумага».

И умирая, Ермолов не отклонился от величавой простоты, характеризующей его. В духовном завещании он сделал следующие распоряжения о своем погребении: «Завещаю похоронить меня как можно проще. Прошу сделать гроб простой, деревянный, по образцу солдатского, выкрашенный желтою краскою. Панихиду обо мне отслужить одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей, ни несения за мною орденов, но как это не зависит от меня, то предоставляю на этот счет распорядиться, кому следует. Желая, чтобы меня похоронили в Орле, возле моей матери и сестры; свезти меня туда на простых дрогах без балдахина, на паре лошадей; за мною поедут дети, да Николай мой, а через Москву, вероятно, не откажутся стащить меня старые товарищи артиллеристы».

Ермолов похоронен в Орле, рядом со своим отцом, в особом приделе Троицко-Кладбищенской церкви. На одной

из стен могильного склепа вделана доска с простой надписью: «Алексей Петрович Ермолов, скончался 12 апреля 1861 года».

Перед его гробницей теплится чугунная лампада, поражающая своим устройством и происхождением. Она утверждена на медном пьедестале и состоит из настоящей чугунной гранаты, в которую вставлена стеклянная лампа. На чугуне грубыми литерами отчеканено: «Служащие на Гунибе кавказские солдаты». Лампада устроена усердием нижних чинов кавказской армии на собранную ими сумму в сорок рублей серебром. И этот простой памятник дороже и краше всякого мавзолея.

Ермолову нет нигде памятника. Но гордые скалы Кавказа составляют несокрушимый пьедестал, на котором истинно русский человек вечно будет видеть величавый образ Ермолова, окруженный лучами бессмертной славы.
